

ПЕРО

ЦИКЛ В ПЯТИ КНИГАХ

КНИГА ПЯТАЯ

ГЛАЗА ДНА



Мирсардор Тулаганов

Мирсардор Тулаганов

Перо. Книга 5. Глаза дна

«Автор»

2026

Тулаганов М. А.

Перо. Книга 5. Глаза дна / М. А. Тулаганов — «Автор», 2026

Вода прибывает по вершку и берёт только тех, кого нет в книге. Тит Безотчий поднялся с самого дна – от торфяных брикетов до Большой Печати Вельмара, чтобы найти наверху горло и стиснуть его. Но горла нет: есть Свод, есть Чернильный Двор и порода писарей, обращающая всякую милость в новый долг. Внизу ждут лодку, наверху ждут нужную форму, печать и руку уставщика – и вода успевает первой. А на гнилых плотах прошатница Мара Верл за грошик пишет за тех, кого по бумаге не существует, и верит, что вода однажды сточит сваю. «Глаза дна» – пятая, заключительная книга цикла «Перо»: о том, может ли перо послужить не тому, кто его держит, а тем, кого не считают. Здесь сходятся все счета, и цену назовут поимённо.

© Тулаганов М. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. Вода прибывает по реестру	5
Глава вторая. Перо по доверию	11
Глава третья. Сход на перевёрнутой лодке	21
Глава четвёртая. У машины нет горла	24
Глава пятая. Лица из-под двери	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Мирсардор Тулаганов

Перо. Книга 5. Глаза дна

Глава первая. Вода прибывает по реестру

Серый цвет прибывал в воздухе, как вода в рукавах Ирмы. Темнота сделалась пепельной, потом проступили крыши Досмара, мокрый шифер, прямые дымы: ветра не было. Поздняя осень над Аргваном не рассветала — просто переставала быть ночью.

Тит Безотчий стоял у высокого окна верхней палаты. За толстыми стёклами в свинце было сухо: до Досмара вода не доставала никогда. Сюда прежде всего провели газ и тёплые трубы; под дома насыпали холм из щебня и битого кирпича. Отсюда Тит смотрел на дальний рукав, где вода доставала до всего.

Он стоял второй час, не садясь. За спиной чужие лопатки до блеска протёрли кожаное кресло. Четыре зимы назад он уходил отсюда по льду, в чужом тряпье, и думал, что не вернётся. Внизу, на плотках и сваях Гнилых Слобод, вода шла поверху — медленная, чёрная, торфяная. Там она пахла бы болотом, гнилью, ржавым железом свай. Отсюда была лишь серой полосой между плотами.

Она не рвала и не выла, как писали для устрашения. Прибывала по вершку. Спешить ей было некуда: вода ищет, где ниже, а внизу было полно людей.

Вошёл молодой служка с медным ведёрком, встал на колени у голландской печи и разворошил угли. Тит слушал домашний шорох кочерги и дыхания. Служка отёр руки о фартук, поклонился его спине и пошёл к двери.

— Постой, — сказал Тит.

Служка остановился.

— Ты где спишь?

— Тут, господин правитель. При палатах. В людской, за поварней.

— Сухо?

— Сухо, господин правитель. Тут везде сухо.

— А родом откуда?

Служка помолчал, не понимая, к добру ли этот вопрос.

— С Мокрого конца, господин правитель. С плотов.

— Туда вода дошла?

— Должно быть. — Служка переступил с ноги на ногу. — У меня там никого. Мать умерла в позапрошлую воду. Меня малым взяли в услужение, вписали в дворовую книгу, потому я и... — Он не договорил.

— Потому ты и сухой, — сказал Тит.

— Так, господин правитель.

Тит держал это в уме, как недовес: имя в книге — человек на сухом; нет имени — вода берёт. Служка тихо вышел, разминувшись в дверях со старшим писарем. Тот вошёл с папкой и встал у конторки. Угли защёлкали. В палате теплело; Тит смотрел вниз, где было мокро.

— Сколько сняли к утру? — спросил Тит, не оборачиваясь.

За спиной зашуршала бумага. Старший писарь заглянул в лист — не Шныр, а другой, новый, гладкий, из тех, что говорят, заранее согнувшись. Тит слышал, как тот сглотнул, прежде чем заговорить.

— По спасательной ведомости снято четыреста тридцать душ, господин правитель. Лодки ходят с полуночи без отдыха. Работа идёт исправно.

— Исправно, — повторил Тит.

Он знал это слово с детства. Жмых говорил «исправно», вписывая ему чужой недовес; Огрызь говорил «по реестру» и накрывал ладонью чехол. Казённые слова были выглажены многими ртами: говорил уже не человек, а уклад — его ртом.

Тит не повернулся. За окном по дальнему рукаву шла лодка с фонарём, и фонарь качался — маленькая жёлтая точка над чёрной водой.

— А сколько на плотях? — спросил он. — Не в ведомости. Всего.

Старший писарь помолчал. Бумага в его руках не шуршала: такой строки там не было. Тит услышал, как тот переступил с ноги на ногу, как скрипнул под ним половики.

— Безбумажных не считают, господин правитель. Их... — он поискал слово, какое не обожгло бы, — их нет в приходе. Потому и числа им нет.

С сухого холма слобода была рябью: тёмные плоты, серая вода, кое-где белый плеск — там ещё бились, кое-где гладь. Лодки с фонарями шли между плотов по нитке, от метки к метке, и спокойно миновали настилы, где люди махали. Лодочник не был ни зол, ни глух. Он шёл по списку; там не было внесённых, и поворачивать незачем.

У поворота рукава Тит различал троих. Двое махали руками, потом белой тряпкой на палке. Третий сидел. Лодка прошла в десяти саженях; фонарь качнулся и удалился. Тряпка опустилась, поднялась снова.

— Поверни их, — сказал Тит.

— Кого, господин правитель?

— Лодки. Пусть берут всех. С любого плота, где есть живой. Не по ведомости — всех.

Старший писарь поклонился — глубоко, готовно, как кланяются, когда хотят согласием прикрыть отказ.

— Воля ваша, господин правитель. Только... позвольте сказать.

— Говори.

— Лодочник на слово не повернёт. За каждую снятую душу он отчитывается: имя, плот, час. Кого снял сверх выписки — за того спросят: почему сошёл с росписи, чьё распоряжение, где записано. Не вас ослушаться боится, господин правитель, а того, что после вашего слова не сыщут. Слово к делу не подошьёшь. Нужна бумага.

— Так внеси.

— Заготовим дополнение: «о снятии безбумажных наравне с внесёнными». Младший писарь перепишет, уставщик выверит, приложат печать... — Он посмотрел в окно: вода поднялась ещё на палец по свае. — Чернила Двора, печать, рука уставщика. Раньше — никак.

Тит молчал. Внизу вода прибывала.

— Покажи выписку, — сказал он. — Ту, по какой ходит лодочник.

Старший писарь развернул на конторке сложенный втрое лист. Три столбца: имя и прозвание, номер плота, час снятия с местом для отметки уставщика. Иные строки ещё не просохли. Внизу мелким уставным шрифтом: снимать поименованных по порядку номеров; о снятых сверх росписи доносить особо.

— А кого нет в столбце? — спросил Тит, ведя пальцем по краю, где кончались имена и начиналось пустое.

— Тех нет, — сказал старший писарь. — Где нет имени, там нет и строки. Где нет строки, там и снимать некого. Лист не велит брать пустое место.

Под последней строкой белело ровно разлинованное место — только без имён. В этой белизне тонул весь дальний рукав.

— Сколько имён в листе?

— На эту воду — сто двенадцать, господин правитель. Те, кого внесли в прошлые воды, и те, кто за лето справил бумагу.

— А на плотях?

Старший писарь не ответил. Тит и не ждал ответа. Он отошёл от конторки к окну.

Мальчишкой на брикетах он думал: наверху сидит злая воля, горло, которое стисни — и всё переменится. Ради него шёл вверх по цепи, вырвал у Огрызя печать, поднялся выше Валя и Имени, которым пугали на дне. Теперь он сам был тем Именем.

А горла нет. Стиснуть нечего.

Убивала не злая воля, а исправность. Вода лишь пришла и взяла невнесённых: низ принимает всякую воду, а вода — всё, что не закреплено строкой.

— Бумагу, — сказал Тит. — Сейчас. Пиши под мою руку: снимать всех. Я приложу.

Старший писарь забежал глазами. Руки его дёрнулись к папке и замерли.

— Большая Печать снова у старшего уставщика, Орма Кеса. После того разлива его вернули из Хеммара и опять посадили в Палате. Он отвечает за неё головой и из Палаты не выносит. Без неё дополнение — простой лист. Листов лодочнику суют всякий день, а спрос идёт по печати.

— Так пошли за Кесом.

— Послали по первой воде. Старик едет. — Писарь опустил глаза. — Двор не близко, конка по верхней воде не ходит, мостки сняли. Пока доберётся...

Не надо было договаривать: вода доберётся раньше. У неё не было ни печати, ни выписки, ни уставщика. Она одна во всей Вельмаре действовала без бумаги.

Тит отвернулся от окна.

В Досмаре было тепло. Над конторкой шипел синим венчиком газовый рожок, под ним оплывала забытая сальная свеча. Старый и новый огонь горели разом; старый был лишний. Тит не велел его убирать.

На столе лежали прошнурованные выписки из Свода, опечатанные бурым сургучом. В подставке ждало стальное уставное перо, обмакнутое в казённые чернила.

За дверью спорили вполголоса. В щель показался совсем юный писарь с листом. Старший шагнул было загородить его, но Тит повёл рукой.

— Чего там?

Юнец вошёл, поклонился низко и заговорил быстро, глотая концы слов:

— По дополнению, господин правитель. Вписал, как велено: «о снятии безбумажных наравне», — а места для уставщиковой отметки нет. Не та форма. Нужная в Палате, в шививе. Без неё дык не примет.

— На простом листе пиши, — сказал Тит.

Юнец посмотрел на гладкого старшего писаря. Тот чуть качнул головой, и юнец перенял это движение раньше, чем перенял слова.

— На простом нельзя, господин правитель, — сказал он тише. — К делу подошьётся лишь то, что по форме. Остальное ляжет особой бумагой: ни спросу, ни силы. Пока привезут форму...

— Пока привезут форму, — сказал Тит, — вода сама всё внесёт.

Тит махнул юнцу. Тот попятился, кланяясь, и унёс лист — заготавливать то, чего нельзя заготовить без формы, печати и старика.

— Позвольте заготовить по правилу, господин правитель. На будущие воды безбумажных станут снимать наравне. Добрая строка останется. Не у всякого хватит сердца её внести.

Писарь не лгал. Он вёл строки чисто и верил, что между людьми и бездной стоит Свод; тонущих ему было жаль. Но он знал костью: мир держится правилом, слово вне книги — ветер. И был прав. Дополнение спасёт будущие воды, а эту — нет. Между двумя правдами не было щели для рычага.

Говоря, старший писарь потирал большим пальцем средний — там, где у пишущего набиивается мозоль от пера. Потирал, сам того не замечая, будто проверял, на месте ли мозоль, будто без неё его и самого не было бы. И, договорив про доброе дело, которое останется, он добавил тише — уже не для Тита, а как договаривают своё:

— Меня самого малолетним чуть не свели с книги. Писец ошибся в номере — и полгода меня нет. Дядька заплатил кому надо, выправил. С тех пор держусь буквы. Знаю, как без неё. Сказал — и осёкся, словно показал лишнее, и снова потёр палец о палец.

Тит подошёл к столу, взял перо.

Перо легло не как нож. Нож отдаёт тяжесть ладони, и рука знает, где сила; перо держали щепотью, на отлёте. Снизу лёгкими казались и перо, и печать, и власть. Гранёная оправа холодила пальцы. Кованое остриё было косо сточено прежней рукой, под её наклон и нажим, и вело Тита вбок, к чужому почерку.

Рука помнила нож торфорезки, костяшку счётов, шершавый вес брикета. Умела взять, сжать, отрезать, сосчитать, но к перу не складывалась. Пальцы держали чужую кость, кисть не сгибалась для буквы. Он повёл остриём посуху над листом — вышла бы царапина, а не линия.

Он дотянулся, вырвал, стал — и держал решающее перо над листом, который ничего не решит, пока по снятым мосткам не приедет старик. Перо при нём, печать не при нём, рука не та. Каждой недостатчи довольно.

Рука сама довела перо до подставки, будто рада была сбыть чужую кость. Чернила целой каплей сошли с острия в чернильницу, словно он пера и не брал.

В животе стало холодно и пусто — не от страха, от ясности.

— Заготавливай, — сказал он глухо. — По правилу. — Он помолчал, пережидая тошноту, глядя на воду в окне. — И пусть лодки идут чаще. Платите лодочникам вдвое за ходку. Не за душу. За ходку.

Старший писарь вскинул глаза. В них мелькнуло что-то живое, удивлённое.

— За ходку, господин правитель?

— За ходку. Тогда не станут считать, кого берут.

Писарь пошевелил губами, складывая счёт. Плата за ходку заставит лодочника набивать борт доверху и брать невнесённых — не из жалости, а по жадности, единственной силе в укладе, работающей без печати.

— Это... это можно, господин правитель, — медленно сказал он. — Это не против правила. Это мимо.

— Мимо, — сказал Тит. — А казну на это найдёшь?

— По статье на чрезвычайную воду найду. Только вписать надо, откуда заплачено, иначе казначей не выдаст. Число ходок ставит сам лодочник... — Писарь осёкся. — Припишут лишнее, господин правитель. Станут возить порожнем ради гроша.

— Пусть, — сказал Тит. — Порожня ходка дешевле утопленника. Плати.

Старший писарь опустил голову и что-то быстро пометил на отдельном листке.

— Иди, — сказал Тит.

Писарь прижал папку к груди, попятился к двери и ещё раз поклонился пустой спине Тита.

Лодки пошли гуще. На некоторых настилах, где прежде махали, стало пусто — сняли. Не всех: мимо строки спасёшь горстью, а тонет рекой. Но горсть будет жить, хотя в книге завтра не убудет ни одной души: безбумажных там и не было. Так когда-то жил и выжил он сам.

У ближнего настила стояла лодка. Двое махавших уже тяжело переваливались через борт. Третий всё сидел; лодочники подняли его под руки, как мешок. Лодка осела ниже и пошла дальше, полная.

Третьего Тит провожал дольше. Двое махали, веря, что наверху есть глаз. Этот ждал не лодки, а положенного, как над листом, где всё уже написано. Его взяли последним, мешком, не за веру — за грош с ходки. Иначе сидел бы прямо, пока вода не вошла под него. У Тита опять похолодело под ложечкой.

У двери палаты поспорили, затем вошёл толстый казначейский с книгой под мышкой, отдуваясь, будто бежал, хотя в Досмаре бежать было некуда.

— По двойной плате, господин правитель. — Он раскрыл книгу. — К вечеру выйдет в полтора раза больше заложенного. Чрезвычайная статья не покроет. Взять из заёмной казны или урезать плату?

— Не урезай, — сказал Тит. — Бери из заёмной.

— Из заёмной берут под роспись, с возвратом, господин правитель. А с кого возврат?

— С прихода будущего года.

Казначейский посмотрел недоверчиво.

— Будущий приход собирают с тех же слобод. Кого свезём — те и заплатят; кого не свезём, тех в приходе не будет. Выходит, спасаем на деньги спасённых.

— Выходит, — сказал Тит. — Бери.

Казначейский поклонился и унёс книгу. Тит считал, как прежде брикеты: лишняя лодка, ходка, грош. Всё сходилось — только не в ту сторону, в какую сводили обычно.

К полудню серый свет лишь немного загустел. Дополнение лежало у младшего писаря и ждало глаза уставщика и печати, как всё на Дворе. Вода не ждала. Лист без печати оставался листом.

В палату тихо вошёл Шныр Пятиструнный.

Он не доложил и не поклонился, просто встал у двери, как свой. Пальцы тронули единственную натянутую струну старой шарманки. Она отозвалась глухо, не в лад. При Шныре Тит не правил — молчал.

— Сняли кого мимо реестра, — сказал Шныр. Он один помнил Тита Брикетом и обходился без «господина».

— Горсть.

— Горсть — это больше, чем дала бы строка.

Вода высоко держала слободу: те же плоты, сваи в слизи по отметину половодья, дальний рукав, где Тит родился безбумажным и потому выжил.

— Лодочники ропшут. Двойной плате рады и не верят: завтра спросят, куда ушли деньги и кого недосчитались. Один вовсе не пошёл. Сказал: после воды разбираться станут с лодочниками; кто много возил, с того много и спросят.

— Пусть сидит, — сказал Тит. — Тех, кто возит, не трогай. И после не дам тронуть.

— Слово?

— Слово, — сказал Тит и усмехнулся углом рта. — Только слово к делу не подошьёшь. Сам сегодня слышал.

Шныр не улыбнулся. Он тронул струну, и она опять тренькнула не в лад.

Тит знал плоты наперечёт: чей настил, у кого шире мостки, где подгнила свая. У дальнего края всегда сидела старуха. Отсюда её не различить, но он знал: сидит, нянчит чужих детей, суёт ломоть тем, кто берёт с презрением. Имени её он не знал — как не знают имени воды.

— Ниса говорила... — Она одна из той, плотовой, жизни ещё ходила вниз, куда Титу хода не было. — Там есть прошатница. За грош пишет неграмотным уставным почерком. Верит, будто власть должна отвечать тем, кем правит. Будто прощением можно сдвинуть строку.

— Может, и есть такая, — сказал Шныр. — Их там много, писарей. У каждого своя вера.

— Эта особая, Ниса сказала. Эта подаёт прошения о спасательной ведомости. Чтобы безбумажных вносили. — Тит помолчал. — Сегодня её прошение пришлось бы ко времени.

— Где Ниса её видела?

— У Чернильного ряда. Под навесом, на ящике; чернильница привязана к поясу. Пишет медленно и дважды переспрашивает, верно ли поняла человека.

— Примета жидкая, — сказал Шныр. — Под навесом на ящике полряда сидит.

— Спрашивай про ведомость. За себя просит тьма, а за чужое внесение, по вере, — наперечёт. Ищи по делу.

Шныр кивнул.

— Отыщи её. Приведи тихо, без острога, как к делу. Хочу увидеть ту, что верит в перо снизу. — Тит отвернулся от окна; лицо было серым, выжатым. — Только не неволь. Скажи: правитель хочет говорить о ведомости. Захочет — придёт. Нет — оставь. Силой приведённое перо ничего не напишет.

Шныр поглядел на того, кого знал Брикетом, тронул струну. Она глухо тренькнула и смолкла. Он вышел.

Внизу, на дальнем плоту, вода лизала доски. Старуха, имени которой он не знал, сидела прямо, как третий у поворота: не махала, ждала положенного. Без укора и надежды — с усталостью, которая копится в костях, когда ждать больше нечего, а уйти некуда.

Глава вторая. Перо по доверию

Поздняя осень не отпускала Аргван. Серый свет не вставал, а прибывал в воздухе, как вода в рукавах Ирмы. Мара Верл макала перо неспешно, потому что неспешность была частью ремесла: нетерпение оставляет кляксу, а клякса на челобитной — повод не читать. Она держала перо над горлышком чернильницы, давала лишней капле стечь обратно и лишь потом подносила к листу. В этом малом движении была вся её наука: отдавать бумаге ровно столько, сколько она примет, и ни капель больше.

Низкий свет с дальнего рукава ложился на лист сбоку, выдавая неровность строки. Вместо стекла сыростью набух бычий пузырь. Под этим мутным светом Мара писала пятый год и чувствовала рукой, где перо нажало лишнее, ушло вкось или засохло на полуслове.

Горница была общая. Мара снимала угол у вдовы Мирны, которая держала плот разом под грамотейство и сушку сетей, и потому внутри пахло чернилом да рыбьей солью. Угол у окна отделяла холстина на верёвке; за ней Мара с утра до позднего часа сидела над чужими бедами. Мирна ходила мимо и вешала сети на жерди под потолком. Капли падали на пол, иной раз рядом с листом, но Мара научилась писать под этой каплей и не вздрагивать.

У колченогого стола ждали трое. Рыбачка с залива, у которой утонул брат, безбумажный и потому будто бы не утонувший. Плотовой старик, чью лачугу вписали в снос. Баба с двумя малыми детьми, просившая хлебной поддержки на зиму. Они сидели рядом на одной лавке — прямо, не касаясь спинами стены, будто пришли на суд, а не за помощью, и ещё не знали, оправдают их или нет.

Мара писала по грошику. Платили за ровный уставный почерк, который Перо снизойдёт прочесть; слова она отдала бы даром. За грош Мара давала не надежду, а форму: правильные поля, нужное обращение, ни одной кляксы. Иначе лист остановят у первого стола. Начала с рыбачки: ясное дело надо вести свежей рукой. Свежая рука меньше давила на перо и не рвала бумагу.

— Брата как звали? — спросила Мара.

— Гант. Гант Валь, — сказала рыбачка и помолчала. — Только его в книгу не вносили. Не на что было.

— Значит, в прошении он у нас не Гант, — сказала Мара. — В прошении он у нас «безбумажный сетевой работник, кормивший трёх едоков, ныне утративший себя в половодье». Имя они не прочтут. А едоков — прочтут.

Мара не стала растолковывать. Присыпала строку песком и переложила утонувшего брата на единственный внятный наверху язык — убыли и недостачи. Дописала, перечитала на слух и отдала.

— Грошик, — сказала она. Рыбачка положила грошик, но не ушла, а помедлила у стола, теребя край платка.

— А дойдёт ли? — спросила рыбачка тихо. — Ты пишешь, я плачу, а оно дойдёт ли?

— Лист дойдёт. Моя снасть — чтобы дошёл чистым. Грязный отложат, не читая. Чистый прочтут или отложат уже по своей воле, не по моей вине.

Рыбачка подумала над этим, кивнула, будто приняла справедливую долю, и пошла к двери.

И с порога обронила то, что Мара уже не раз слышала на плотях и держала, как держат непроверенную строку:

— Говорят, теперь-то и за нашего брата вступятся. Новый, мол, наверху-то, сам со дна. Своих не топят.

— Говорят, — отозвалась Мара, не отрываясь от линейки. Слух лежал у неё до сверки; в строку непроверенное не берут. Рыбачка вышла, и пузырь окна на миг потемнел.

Старика она писала дольше. Его тридцатилетнюю лачугу внесли в снос из-за смежного номера. Он говорил про сваи, которые бил сам, и внука под этой кровлей; Мара писала про номер. Правят не сваи, а строку, откуда пришла беда.

— Тут ошибка в номере, — объяснила она ему дважды. — Лачугу твою не сносят. Сносят строку. А под строкой случилась твоя лачуга.

Старик кивал, не веря, что строка сильнее свай и тридцати лет.

— Покажи мне номер, — вдруг попросил он. — Где он, этот номер. Я погляжу.

— Нет его у меня, дед. Номер в их книге, наверху. Я его не видела. Я только знаю, что он есть, потому что без номера снос не пишут.

— Значит, ты за пустое место воюешь, — угрюмо сказал старик. — За цифру, какую и в глаза не видела.

— За пустое. Но оно стонит тебя со свай, если его не тронуть. У них беда пишется так: сперва цифра, потом человек. Я пишу по их повадке, иначе не услышат.

Недоверие она знала изнутри: сама вышла с плотов, была безбумажной и тайком училась по выброшенным циркулярам. Складывала чёрные строки, как битую посуду — черепок к черепку, пока не проступит смысл. Старик видел грамотейку с пером, но не видел девку, которая на коленях разбирала чужой закон, шевеля губами. Ни стола, ни линейки — подобранный лист и упрямство. Первые буквы она складывала по спискам писаря Вейта, чей потерянный короб вынесло половодьем на дальний плот. Выходило, перо своё Мара подобрала, как чужую снасть без хозяина: кто нашёл, тому и держать.

Третьей села баба с малыми. Малые остались на лавке у двери. Один из них, тот, что поменьше, всё тянул в рот мокрый рукав и сосал его. От этого тихого звука Маре делалось не по себе, хоть она и не подавала виду.

— Пиши, что нас трое, — сказала баба. — Трое, и все голодные.

— Трое голодных — это жалость, а на жалость у них статьи нет. Напишем: двое невнесённых малолетних станут убытком казне, если вымрут, и прибылью, если будут внесены и приведены к работе. Они отвечают тому, что считают, и глухи к тому, что плачет.

Баба не понимала. В её глазах стояло привычное недоверие к грамоте — чужой сети, сплетённой на иную рыбу и обречённой порваться в руках плотового.

— А если я хлеба прошу, а ты про убыток пишешь, — сказала баба, — так они хлеба-то и не дадут. Дадут, что в книгу впишут, а не хлеба.

— Дадут, что впишут. Хлеб у них ходит по записи. Впишут малых — пойдёт доля; не впишу их убытком — попадут в другую книгу, как старикова лачуга. Выбирай, мать, в какую тебя внесут. Хлеб будет потом.

Баба молчала, и Мара дала ей время. На плотях эту правду принимали медленно: грамотейка не лжёт, только переводит с языка воды на язык книги, а перевод всегда холоднее подлинника.

— Не бойся. Я их слова знаю и на их языке скажу за тебя. Ты по-своему молись, а я по-ихнему напишу. Так скорее дойдёт.

Мара дописала и отдала. Баба приняла лист обеими руками, как хлеб, подняла меньшего и ушла. Пузырь окна снова посветлел.

Когда последняя ушла, вдова Мирна отвела холстину и заглянула за неё с сетью в руках. Сеть капала, и капли падали на порог.

— Опять задаром половину писала, — сказала Мирна. Не корила — считала, как считают чужой убыток, удивляясь чужой бестолковости. — Старик грошик скостила, я видела. Он клал два, ты взяла один.

— У него внук, — сказала Мара.

— У всех внук. У всех брат утонул, у всех малые голодные. — Мирна повесила сеть на жердь, и капель участилась. — Ты грамотейка, а не раздача. Грамотейка с грамоты живёт, не с жалости. Жалостью угол не оплатишь.

— Оплачу, — сказала Мара. — За мной не пропадало.

— За тобой не пропадало, — согласилась вдова с ворчливым уважением. — Пузырь на ночь не открывай, отсырел. И свечу жги мою: твоя коптит, листы пачкает.

Мирна вернулась через минуту, сунула Маре горячую картофелину и велела не капать чернилами на еду. Мара обожгла пальцы, коротко засмеялась и съела её над пустым черновиком, пока не ушёл пар.

И ушла за свою половину, к сетям, и больше не выглядывала, и Мара осталась одна.

Тогда она достала из-под доски стола свой свёрток.

Это было её большое прошение — то, ради чего она держала перо, а прочее писала, чтобы перо держать. Спасательная ведомость для безбумажных: вносить тех, кого вода берёт каждое половодье, по самой жизни на плотках, без пошлины, чтобы лодка шла и за людьми без строки. Она переписывала его четырежды. В четвёртом списке нашла лишнее слово — «милостиво» — и вычеркнула. Милости Мара не просила. Милость — не порядок, и ведомость, поданная как милость, ляжет под сукно челобитной.

Она перечитала лист, шевеля губами, и остановилась на круглом числе утопших. Эту цифру Мара не считала — назначила, потому что на плотках погибших не считал никто. Ведомость о счёте начиналась с несосчитанного числа. Без цифры прошение не примут вовсе, с любой — хотя бы глянут. Но ложная точность грызла: если перо доносит правду ложью, оно само себе враг. Наверху требовалось число, а у неё была только вода, которая брала без счёта, и пустота после каждого взятого.

Низовые прошатницы считали дело пустым: наверху ведомость сунут под сукно. Недавно заходила молодая Ниса, бегавшая у них с поручениями. Глядя, как Мара сворачивает четвёртый список, она сказала просто:

— А я слышала, такие они жгут. Которые не по форме. Сидит наверху человек, и у него корзина, и он что не по форме — в корзину, а корзину под вечер в печь. Мне Шныр рассказывал.

— Моё по форме, — сказала Мара.

— Всё равно жгут. По форме, не по форме. Им разбирать неохота: печь близко, корзина близко.

Ниса ушла. Её слова легли поверх несосчитанной цифры; обе тяжести остались.

В тот же вечер у дальнего плота Мара сошлась с Дарном. Когда заговорили о ведомости, он сидел у жаровни, вертел в пальцах подобранное звено цепи и сказал в огонь:

— Прощением воды не отведёшь, Мара. Перо не выпрашивают. Перо отдают только из рук — когда руку разожмёшь силой.

— А если разожмёшь силой, — ответила она, — Перо в разжатой руке писать не станет. Перо силе не служит. Силе служит топор, а Перо — порядку.

— Перо служит силе. Отними её — порядок рассыплется, и ничью строку подберёт первый с топором. Ты пять лет пишешь, а воды на ноготь не ubyло. Я за ночь подниму дальние плоты — и наверху твою ведомость прочтут со страху, не глядя на форму. Страх грамотнее линейки.

— Со страху прочтут и со страху порвут. — Рука Мары легла на свёрток за пазухой. — Взятое силой отнимут силой; в книгу внесут зачинщиков, не спасённых. После бунта наверху одна графа — «ubyло». Туда и пишут ваших.

— Лучше «ubyло» своей волей, чем «утоп» по чужому недогляду. Твои тонут по реестру, который ты им и ведёшь. Воду не отводишь — считаешь, чтоб ровнее брала. — Дарн сжал звено цепи. — Перо твоё при ноже состоит. Без ножа оно гусиное.

В его словах была правда, которую Мара сама держала непроверенной и не любила выносить на свет. Спорить с Дарном — гасить искру на сыром торфе: выдохнешься раньше, чем она погаснет. Но Мара держалась иного не верой, а ремеслом. Правила можно менять правилами — прошением за прошением, как вода точит сваю: медленно, без приметного удара, а свая всё-таки сдаёт. Взятое тихо держится само; взятое ножом нож и стережёт, пока не затупится. После Дарново звено легло в её памяти третьей тяжестью — рядом с Нисиной печью и несочитанной цифрой.

В дверь стукнули, и стук был не тот.

С плотов стучат робко, будто извиняясь, что есть на свете. Этот стук был ровным: два удара и тишина. Так стучит человек, за которым стоит строка.

Мара прибрала свёрток обратно под доску, не торопясь, и лишь потом сказала:

— Открыто.

Конторщик в потёртом мундире показался в проёме, не ступая на плотовую сырость. Сапоги были сухи — знак человека, который ходит поверху, по мосткам и насыпям.

— Верл. Прошатница. — Он не спрашивал, он сверял по бумажке, что держал в горсти. — Вписанная грамотейка, что пишет за безбумажных. По имени тебя велено.

— Кем велено? — Перо замерло над чернильницей, не дрогнув. Выдавшая себя рука уже не пишет, а оправдывается.

— Наверху велено, — сказал конторщик, как называют болезнь: уважительно и не до конца. — Завтра к полудню пришлют конку до Досмара. Будь у мостков.

— А если спрошу, за что? — сказала Мара ровно.

В его лице была только усталость человека, который разносит чужие веления и не знает их нутра.

— Не велено говорить, за что, — ответил он. — Велено привести. Спросишь там.

— А с собою что брать? — спросила она ещё, потому что ей нужно было знать одно: брать ли свёрток. — Бумаги при мне есть. Брать ли?

Конторщик глянул на неё впервые — с опаской человека, который не хочет лишнего знать о ведомом.

— Про бумаги не сказано. — Он помолчал и прибавил уже не по службе: — Я бы припрятал. Наверху бумага у вызванного — либо спасение, либо петля. Что из двух, решат там.

И ушёл, не закрыв двери. Закрывать за собой было не его делом. Его дело — сверить и назвать.

Мара сама затворила дверь и слушала ровные шаги сухих сапог, пока их не съел плеск под настилом.

«Наверху велено». Сегодняшние утопый, снесённый и голодные встали в голове реестром. Ни за одного наверху не вызовут грамотейку по имени. Значит, звали за другое.

Из-за холстины вышла Мирна. Она слышала всё: на плотках за холстиной слышно всё. Мирна встала, скрестив руки, и долго, тяжело смотрела на Мару.

— Конку прислали, — сказала вдова. — За грамотейкой с плотов — конку. Ты знаешь, когда за человеком конку шлют, а не конторщик его пешком ведёт?

— Когда?

— Когда хотят, чтоб дошёл. Пеший может по дороге будто сам оступить, а конкой тебя берегут. На милость или на казнь — как Перу угодно. Казнь тоже любит бережёного: чтоб при всех и в порядке.

— Утешила, — сказала Мара.

— Я угол сдала живой грамотейке, с мёртвой платы не возьмёшь. Говори коротко: отвечай, о чём спросят, про остальное молчи. Особенно про свёрток. Наверху не любят тех, кто сам лезет с бумагой. Спросят — подашь. Нет — увезёшь назад.

— Поняла, — сказала Мара, хоть про себя решила иначе: ведь только ради свёртка и стоило ехать.

По плотам уже который месяц ходил слух: новый правитель, тот, что брал власть мечом и страхом, теперь чинит порядок. Велит вносить безбумажных, отменяет наследуемый долг, переходивший с утоплого отца на живого сына. Прощатницы не верили. «Тиран милостивым не станет. У волка зубы от сытости не выпадают». Дарн смеялся коротко и зло: «Книгу чинит, чтоб точнее нас считать. Тебя сосчитают, Мара, и обрадуешься». Она не позволяла себе ни верить, ни смеяться. Держала слух до сверки: верить непроверенному — писать набело по черновику.

Слух принесли двое: Шныр, ходивший между низом и верхом, и незнакомец в городском сукне, складно говоривший у раздачи. Мара пришла туда за брикетом, а попала на слово.

Он стоял на перевёрнутой лодке, твёрдо, по-верховому, в сухих сапогах. Вокруг теснились бабы с детьми, старики, безбумажные — все, кому брикет был дороже слова. Над поднятыми лицами клубился пар.

— Переменились времена! Наверху теперь не из тех, что отродясь сухими ходили. Сам брикеты таскал, по грудь в половодье ходил! Знает плотового человека и за него стоит. Наследный долг отменит, в книгу впишет всех и обоз за вами пошлёт!

Толпа подалась к нему, как вода к открытому затвору. Баба с ребёнком заплакала, старик перекрестился на лодку. Верили всем телом: иначе оставалось ждать в воде.

Мара слушала и считала не слова, а оговорки. «Сам таскал» — откуда тебе знать? «Своими руками» — ты видел эти руки? «Отменит, впишет, пошлёт» — всё впереди, в долг, ни одной уже лёгшей строки. Гладкая речь каждый раз сворачивала туда, где слушателю было слаще: к обозу, отмене долга, своему наверху. Горькое, где её можно проверить, обходила. Кто торгует чужим словом, за своё не отвечает и даёт его легко. Мара не поверила ни на грош и устыдилась перед бабой, плакавшей от веры. Но где толпа верит всем телом, там после и тонут всем телом. Она взяла брикет, а слух унесла за пазухой, как непросохший лист — стороной, чтобы не смазать.

Шныр чужого слова в свою цену не клал. «Что правда — не моё дело. Моё — донести, что слышал». Честный перевозчик худой вести был Маре понятнее сладкого вестника.

Ночью она думала не о привычном страхе, а о том, что её, может быть, зовут слушать. Стол, в который она пятый год метила ведомостью, сам повернулся к ней. Эту мысль Мара отложила, как непросохший лист, чтобы не смазать.

Среди ночи, когда вода под настилом стояла высоко и плескала редко, она зажгла Мирнина свечу и достала свёрток ещё раз. Не читать — она его знала наизусть, — а решить про ту нечитаную цифру. Села над ней — и сразу же решила.

Перо замерло над цифрой. Круглое число входило в графу как влитое и внушало доверие, будто его действительно досчитали до последней души. Подставь — строка полна, прошение весомо. Честного числа у Мары не было; была прореха на месте счёта.

Рука не шла: число было ложью, пробитым днищем спасательной лодки. Спросят, откуда тысяча, — ответить нечем. Тогда вместе с ведомостью пойдут ко дну старик, баба, рыбачкин брат. Перо, солгавшее о счёте, уже только гусиное. Дарново слово всплыло снова.

Мара чисто зачеркнула число, оставив его видным, и написала: «числом, какого власть доньне не вела, ибо безбумажных не считают, отчего и убыль их безвестна». Теперь она подавала не счёт, а его недостачу: у вас нет числа там, где оно должно быть. Человек, который вправду чинит порядок, заметит прореху; обычный конторщик с корзиной сожжёт и ложное, и честное. Она оставила честное. С нечистой совестью пера ровно не поведёшь.

К утру она перечитала четвёртый список, заменила ещё одно слово, провощила лист Мирниной свечой, свернула и обвязала вощёной бечёвкой. Дорога до Досмара была сухой, но вода в Вельмаре не спрашивает, какая дорога тебе нужна.

Крытая рогожей конка пришла вовремя. Возница в сухих сапогах молча мотнул Маре: садись. Внутри уже сидел закутанный попутчик. Когда конка качнулась на стыке настила, он кашлянул знакомым низовым кашлем. Шныр.

— И тебя зовут? — спросила она.

— Меня посылают. Разница есть: ты им нужна, я под рукой. Туда дорога у нас одна. Назад — по-разному бывает.

— Ты знаешь, за что меня?

— Я многое знаю. Только знать и сказать — две снасти, ходят врозь. — Шныр искоса глянул на неё из-за воротника сухим, отстранённым взглядом. — Скажу одно, даром, не в счёт. Тебя зовёт не конторщик и не контора. Зовёт сам. По имени. А сам по имени зовёт редко и не зря. Значит, ты ему зачем-то понадобилась. Зачем человек нужен тому, кто наверху, не всегда к добру, Мара. Там увидишь. Я бы прежде времени ни радовался, ни убивался. Ехал бы и глядел.

И больше ничего не сказал. До самой Досмара глядел в воду. И Мара глядела тоже, и думала, что Шныр, должно быть, прав: радоваться прежде времени — это писать набело по непросохшему. Она ехала и глядела.

Палаты в Досмаре были сухи. Это Мара отметила прежде всего, поднявшись по каменной лестнице, которая не знала половодья. Камень под ногой был сухим и тёплым, будто его грели изнутри, и ничем не пах. У плотов всё мокрое, всё пахнет живым или гниющим. Здесь не пахло болотным газом и торфом — пахло сургучом и тёплым воском. Власть в Вельмаре пахла печатью, а не кровью. Кровь оставалась внизу, у воды, а наверх поднимался воск, которым её припечатывали к бумаге.

Шныра повели в низкую дверь для прислуги и доносчиков, Мару — по парадной лестнице. Значит, с нею собирались говорить. Она насчитала тридцать три ступени, стёртые посередине, и подумала, сколько людей всходило сюда и все ли сошли назад.

В длинном переходе по обе руки тянулись конторки. За ними скрипели стальные казённые перья — ровно, часто, как капель, которая не прекращается. Мара считала их по звуку, как считала бы вёсла на воде. Над одним лотком пневматическая труба дрогнула, охнула воздухом и выплюнула медную капсулу. Конторщик отвинтил крышку, вынул скрученный лист и буднично положил в стопу. Мара успела разглядеть красную метку: донос. У воды доносят голосом, в лицо или в спину. Здесь — по трубе, не выходя на мокрое. Чисто.

У другой конторки двое спорили над раскрытой книгой. Номер был смежный, перебитый: один велел снять человека, другой отвечал, что без встречной отмены сверху снять нельзя. Отмены нет — значит, нельзя ни снять, ни оставить. Безымянный человек висел в их споре, как утопающий, которому ещё не решили бросить снасть. Мара узнала старикову беду: тот же перебитый номер, та же смежная строка. И поняла, что таких бед не одна и не сто, а столько, сколько строк. Она воюет с устройством, где ошибка снизу не правится, а ждёт встречной воли сверху, которой может не быть вовсе.

Провожатый тронул её за рукав. Мара прижала свёрток и готовила первую фразу. Не помилуют ли — дадут ли сказать. По зачину Перо решает, читать ли дальше.

Её ввели в палату — не широкую, но высокую, с одним окном. У окна, спиной к свету, стоял человек.

Свет скрывал лицо, оставляя невысокое жилистое очертание. Плечи были сведены тяжестью, которую носили слишком долго. Он стоял сбоку у окна, будто сам ждал вызова; стол казался ему не престолом, а доской для бумаг.

На столе лежали опечатанный Свод, уставное Перо и чёрная чернильница. Человек к ним не прикасался. Руки за спиной были не писарские: широкие в кости, со сбитыми костяшками и лоском долгой ноши. Такие руки Мара видела у тех, кто таскал брикеты.

— Верл, — сказал он.

Не сверяясь, как конторщик. Не по бумажке. Назвал так, как называют того, чьё имя держали при себе.

Голос был тихим, бережным — слова он тратил по одному. Мара поклонилась Перу ровно, не низко: низкий поклон унижает обоих.

— Господин, — сказала она, не зная, как его величать: у власти в Вельмаре было много вывесок и мало имён. — Меня привели по имени. Я не знаю за собой вины и не знаю за собой заслуги. Я пишу прошения. Это не запрещено Сводом.

— Не запрещено, — сказал он.

Он помолчал, будто сверяя её слова с какими-то своими, и заговорил снова, всё не обращившись:

— Тебя долго везли?

— С утра, господин. Конкой.

— Конкой, — повторил он, будто сверяя с чем-то давним, где была вода по грудь. — Раньше водили пешком. Кого вели наверх, не всегда доходил. Дорога брала своё.

— Я слышала, — сказала Мара осторожно, не зная, к чему он клонит.

— Теперь конкой, — сказал он. — Чтоб доходили. — И умолк. Мара не поняла, похвалился он этим или просто отметил перемену — так отмечают, что вода сегодня стоит выше вчерашнего.

Он повернулся. И свет лёг наконец на его лицо.

Мара увидела усталого серого человека, не отмытого от тени, въевшейся под кожу. Лицо было немолодым не по годам, а по изношенности — отжатое лицо, каких на плотях сотни. На один удар сердца оно показалось знакомым: то ли из толпы, то ли от раздачи брикетов, то ли из прежней безбумажной жизни. Знакомое мелькнуло, и Мара придержала его, как придерживают лист, который хочет свернуться. Не потому, что не узнала, — узнавать было страшно. Перед ней стояла власть; соединить с нею плотовое лицо значило признать, что власть вышла с того же дна. Пока не ясно, к добру это или к беде, такую строку в реестр не вносят.

Его взгляд она приписала своему делу. Так смотрит судья, подумала она, который уже всё решил, но ждёт, чтобы ты сам себя назвал, — чтобы приговор сошёл не с него, а будто с тебя самого.

— Мне сказали, ты пишешь за безбумажных, — проговорил он. — За тех, кого нет в книгах.

— Пишу, господин. Их нет в книгах, но они есть на плотях. Вода это знает, хоть книга и не знает.

— И что они тебе платят? — спросил он. — Безбумажные. У них же ничего нет.

— Грошик, — сказала Мара. — У кого грошик есть. У кого и того нет — пишу так. Платят не за слова. Слова я даром отдам. Платят за почерк. За ровную строку, какую Перо снизойдёт прочесть. Кривую строку наверху не читают, господин. Её откладывают, не дочитав.

Он слушал, чуть наклонив голову. Не удивлялся — сверял с тем, что знал сам, и счёт сходился.

— Кривую откладывают, — повторил он тихо. — Это так.

Мара перевела дух. Ради этого она и шла; смолчать в свой час было бы глупо.

— У меня есть прошение. Большое. Не за одного — за всех. О спасательной ведомости. Наверху не слушали — сверяли и отсылали. Но он не оборвал. Глядел на вощёный свёрток под её локтем, будто тот жёг ему глаза и был знаком ещё неразвязанным.

— Говори, — сказал он.

Мара заговорила ровно, уставным голосом прошатницы. Вода берёт тех, у кого нет строки; спасательная ведомость требует пошрины, которой безбумажному не внести. Он тонет дважды — в воде и в книге. Таких следует вносить по самой жизни на плотях, особой строкой, без пошрины. Не из милости: власть, не считающая утопших, не знает, чем правит.

Голос не молил. Перо было глухо к мольбе и чутко к счёту, поэтому Мара переводила жалость на язык убыли и прибыли. Не потому, что он лучше, — он доходил.

Он слушал.

Он слушал так, как никто наверху, — не сверяя и не перебирая статью, под которую её подвести. Просто слушал, как на воде слушают далёкую грозу. Когда Мара сказала «тонет дважды — раз в воде, раз в книге», по его лицу прошла короткая тень. Он отвернулся к серому окну и так дослушал до конца. Плечи, сведённые тяжестью, не шевельнулись, но по тому, как он держал голову, Мара видела: отвернулся не от неё. Он повернулся к чему-то своему, что она задела словом, сама того не зная.

Когда она смолкла, в палате стало слышно перья за стеной — ту дальнюю ровную капель стального скрипа, что не переставала.

— Дважды, — сказал он наконец, не оборачиваясь, и голос его был ещё тише прежнего. — Раз в воде, раз в книге. Кто тебя этому научил?

— Сама дошла. Я была безбумажной, училась по выброшенным циркулярам. И первое, что поняла грамотной: в воде тонут люди, в книге — строки; кого в книге нет, того в воде искать не пойдут.

Он молчал долго. Потом сказал — и сказал не ей, а будто себе, в окно, в серый свет:

— Их и не ищут.

В этих словах было столько глухого знания, столько давно сведённого и всё равно не сходящегося счёта, что Мара не стала прибавлять своего. Этот человек знал про утопающих не из прошений. Знал изнутри, как она. Откуда — додумывать не стала: власть не спрашивают, откуда она знает дно. Но узнавание подступило снова, ближе — уже не лицом, а голосом, сказавшим про своё, наболевшее. Мара и его придержала. Если тот, кто наверху, знает дно изнутри, спрос с него иной, обмануться в нём большее, а сверять надо строже, не мягче.

— Положи, — сказал он, всё не оборачиваясь, и кивнул в сторону стола, где лежали Свод и Перо. — Положи прошение. Я прочту.

Мара развязала бечёвку, расправила вощённый лист и положила рядом с опечатанным Сводом. На миг увидела их вместе: прошение, четырежды переписанное гусиным пером на рыхлой плотовой бумаге, которая без воска взяла бы воду как губка, — и Большую Печать на шнуре. Только она делала строку строкой. Без неё оставались чернила на бумаге, след, который вода смоеет и не спросит.

Она отступила на шаг. Не знала, что он прочтёт. Не знала, кто он. Видела усталого человека у окна, который выслушал её, не оборвав, и смотрел на неё так, как не смотрел никто.

Он подошёл к столу не сразу и взял лист. Бумагу держал не двумя пальцами за край, как привычные к ней, а всей пятернёй — бережно и неловко, как держат не своё. Так взял бы лист человек, которому привычнее брикет. Узнавание встало перед Марой в полный рост: дальний плот, зимняя очередь, эта хватка. Ей стало не радостно, а страшно — непроверенная строка вдруг сошлась со счётом. Она опустила глаза на его руки, потому что посмотреть в лицо теперь значило назвать вслух. Он читал медленно, шевеля губами, складывая слово из букв, а не схватывая разом. Так читала когда-то сама Мара. Так читают по выброшенным циркулярам на коленях.

На строке «числом, какого власть доньше не вела, ибо безбумажных не считают, отчего и убыль их безвестна» он остановился и перечёл дважды. Потом поднял потемневший взгляд.

— Ты пишешь, что их не считают, — сказал он. — И потому убыль безвестна.

— Так, господин.

— А если начнут считать? — спросил он, и спросил не как просительницу, а как того, с кем думают вслух. — Если впишут всех. Каждого. По самой жизни, как ты пишешь. Что тогда будет?

Мара подумала, прежде чем ответить: вопрос был не пустой и лёгкого ответа не имел.

— Их станет видно, а видимое спасают и считают. Счёт пойдёт в обе стороны: впишешь человека — будешь спасать и спрашивать. Я это знаю и всё же прошу. Лучше в книге и в долгу, чем вне книги и в воде. В долгу — живой.

Под его лицом что-то дрогнуло. Мара ответила вернее, чем он ждал: не солгала, будто счёт несёт одно добро, назвала оба конца.

— Лучше в книге и в долгу, — повторил он медленно, — чем вне книги и в воде.

И положил лист на стол, рядом с печатью, бережно, той же неловкой пятернёй, и разгладил его ребром ладони — сбитой, в буграх, — будто хотел, чтобы лист лежал ровно, чтобы не покоробился.

— Тебя как звать по имени? — спросил он тихо, всё глядя на лист, а не на неё. — Не по строке, а по имени?

— Мара, — сказала она.

Он молчал. Мара ждала ответного имени — так окликаются встречные плоты, чтобы знать, кто уступит русло. Но он не назвался.

Мара сочла молчание надменностью власти: имени своего низу не отдаёт. Так было легче. Иначе выходило, что имя его она уже знала — то самое, которое на дне произносили вполголоса, — стоило лишь подставить к лицу, как число в пустую графу. Оба это знали и оба молчали: он, чтобы не назваться, она, чтобы не узнать вслух. Проверенная строка стояла между ними непрописанной. Мара поклонилась и пошла к двери. Там всё-таки оглянулась. Он стоял у стола, руку с листа не убрал. Широкая пятерня лежала возле развёрнутого прошения и Печати — не накрывая, но и не отпуская, будто стерегла от сквозняка.

В переходе её приняли двое конторщиков и повели назад, к лестнице. Один из них, помоложе, не утерпел и спросил вполголоса, кося глазом:

— Чего он тебе? Долго держал. Он ведь подолгу ни с кем не говорит. Сказал чего?

— Велел прошение оставить, — сказала Мара. — Прочесть обещал.

Конторщик глянул на неё странно, недоверчиво — так глядят на того, кто рассказывает несбыточное.

— Он? Сам? — Конторщик покачал головой и до лестницы молчал. Значит, правитель, взявшийся сам читать прошение, делал то, чего здесь не водилось.

На лестнице сухой воздух сменился сыростью, сургуч — торфом. Мара несла осторожную радость: прошение легло на стол, куда метило пять лет. Он слушал. Но слушал как свой, узнанный и не названный, а всякая незаконченная строка требует цены.

В конке у мостков сидел Шныр. По его лицу Мара ничего не прочла: он не давал.

— Жива, — сказал он, когда она села. — И с лица светлая. Стало быть, не на казнь звали. — Он помолчал, пока конка трогалась. — Чего просветлела-то?

— Прощение прочесть взял, — сказала Мара. — Сам.

Шныр поглядел на воду, уходившую назад под насыпью, и пожевал губами, будто хотел что-то сказать и раздумал. И сказал в конце не то, что хотел, а половину того:

— Бывает, берут и читают. А бывает — чтоб ты ушла светлая и не голосила. Я не говорю, что твой такой. Узнаешь по обозу: придёт за безбумажными — прочёл. Не придёт — взял успокоить. По обозу суди, не по тому, как взял.

И больше ничего не сказал, и Мара не стала допытываться. Шныр своё уже отдал, а сверх отданного из него не вытянешь.

Сходя на плоты, Мара поняла: она знала этого человека не мельком. Теперь между ней и палатой лежала вода, и память зачерпнула давнюю зиму на дальнем плоту, когда брикеты делили на всех. Перед ней в очереди стоял жилистый человек со сведёнными плечами и нёс свою долю в широкой пятерне, прижав к груди, как взятое в долг. Однажды обернулся — это лицо и тогда было отжатым. Теперь тот, кто стоял впереди с брикетами, сидел над Сводом и держал Большую Печать. Строка сошлась со счётом, но легче не стало. Дно и верх оказались

одной очередью: стоявший впереди поднялся, стоявшая позади пишет ему прошения снизу. Это знание было опасным — власть знала, что Мара знает. Она прибрала его под доску памяти. В горнице уже ждали старуха с потерянным сыном, парнишка с чужим долгом и баба с челобитной на соседа. Думать о знакомом лице стало некогда. Надо было писать дальше: вода прибывала по реестру, а строку даром не дают.

Глава третья. Сход на перевёрнутой лодке

Это было накануне — за день до того, как Мара поднялась наверх, в палаты. Сход начался не с крика, а с того, что у Кальма задрожала рука.

Мара заметила это раньше первого слова: руки она читала вернее лиц. У Чернильного ряда, на протёртом локтями ящике, она писала за безбумажного. Перед ней стоял Кальм с торфяных ям, с опущенным плечом, ещё помнившим короб. Диктовал не словами — тем, что оставалось между ними.

— Пиши, что брат у меня под водой остался, — сказал он.

Мара написала: «убыло работника одного, кормильца при трёх душах». Чтобы попасть в Свод, беда должна стать убылью. Сама она всё ещё держала надломленное перо под ноготь — иначе не шла кисть, помнившая невод и оборванную бечеву. Потому чужие руки читала как страницы.

Рука Кальма дрожала не от холода.

— Не за себя. Чтобы нумер брату выправили. Не как у пёсего. Пёсий нумер Мара знала: безбумажного утопшего заносят общим числом, в одну графу с павшими собаками. Ни имени, ни строки.

— Выправят, — сказала Мара. Не поверил ни он, ни она. На двух невериях, сложенных бумагой, и держался Чернильный ряд.

За Кальмом ждали баба с малым, старик с перебитым нумером и ещё двое, которых слободы выпихнули просить, как воду из переполненной лодки. На краю доски темнел сургуч.

И тут заговорил Дарн.

Дарн просто встал на рассохшуюся перевёрнутую лодку у спуска, будто её для него и положили. Его знал весь спуск: торф обжёг руки по локоть, кожа натянулась и лоснилась, как на вещи после огня. Этими руками он работал лучше двужильного; теперь держал их раскрытыми, показывая пустоту.

— Глядите, люди, как оно делается. Стоит наша Мара, светлая голова, и пишет за тебя, Кальм. За брата под водой. — Дарн говорил тихо: ради такого голоса замолкают.

Кальм оглянулся — виновато, будто его поймали.

— Пишет, — продолжал Дарн, и в голосе его не было зла, потому и страшнее. — И напишет складно. Лучше всех напишет. А теперь я вам скажу, куда оно пойдёт, перо это.

Мара не подняла глаз. Прежде они спорили у огня, среди четверых своих, и слово таяло в дыму. Здесь стен не было. Баба с малым, старик с перебитым нумером — все смотрели уже на Дарна.

— Перо, — сказал Дарн, — служит тому, у кого сила. Не тому, кто им водит. Тому, кому оно идёт.

У Мары дёрнулась свободная рука — прикрыть бок, будто от тычка. Тело ответило раньше головы: удар был верным.

— Она напишет, а прочтёт конторщик. От него лист пойдёт к писарю, во Двор, под Большую Печать. Кто прижмёт Печать, тот и решит, убыло у тебя брата или нет. Ты, Кальм, опустил его в воду руками; наверху опустят пером — и выйдет, будто не было. Прощение идёт не вверх, светлая голова. В чужую руку. А она, с топором или пером, сильнее твоей.

К лодке потянулись от мостков и воды; очередь обросла толпой. Мара услышала её дыхание телом, как невод чувствует поворот косяка. Плотовые вздохнули на слова, которые давно знали и стыдились знать. Старик закивал, баба перехватила малого повыше.

— Складно, Дарн, — сказала Мара. Голос вышел ровный. Она этому выучилась — держать голос ровным, когда внутри рвётся бечева. — Складно рассказываешь. Только ты людей не вверх ведёшь. Ты их от пера отводишь. А отведёшь — что им останется?

— Останется рука, — сказал Дарн просто. — Своя.

И поглядел на свои.

Из задних рядов поднялся молодой звонкий голос. Позже Мара узнает одного из тех, кого Дарн водил с собой, как невод поплавки, чтобы видно было сеть.

— И не одна рука! Сказывают, наверху новый — из наших, донных. Наследный долг отменил, безбумажным имя даёт. Сам брикеты резал, торф ломал. Свой. Правит по совести.

Толпа качнулась к этому голосу, как качается к теплу.

Мара не поверила — не телом. «Сказывают» было всем, на чём держался новый со дна. Она сотни раз писала это слово под чужую диктовку и знала: за ним всегда стоит чья-то нужда, чтобы поверили. Слух ничего не весил. Как несчитаная цифра в ведомости: выглядит чисто, а под нею пусто.

«Свой, со дна, правит по совести». Мара ощутила лишь усталость. Верх не терпит донного: либо выплюнет, либо переварит. Прощения всё равно лягут под ту же Печать, чья бы рука её ни жала.

Она не знала — и не могла знать, сидя на своём ящике у Чернильного ряда, — что слух не врал в одном: такой человек был. В ореховой палате наверху и вправду сидел тот, кто резал торф, считал брикеты и держал руку на чехле холодной Печати, как на больном месте. Три его указа — имя, долг и кара за принос — уже в этот час оборачивались новой мздой, и он это знал, но не знал, что делать. Мара видела только толпу, качнувшуюся к слову «свой», сургуч, похожий на засохшую кровь, и дрожащую руку Кальма. Толпа поверила в спасителя со дна; единственная на спуске, кто завтра увидит его лицо, не поверила вовсе.

— Слыхала? Со дна поднялся. Стало быть, можно: человек встал и пошёл. — Дарн шагнул к краю лодки. — Брось перо, Мара. Надломила его и кисть себе свернула. Садись со мной. Затеается большое дело. Нам грамотные нужны не для прошений. Когда сломаем Печать, сядешь за неё. Своей рукой решать будешь.

Это был вернейший удар: он звал не в разбой, а к перу, которое не просит — велит. На миг Мара представила, как не переводит чужую беду на язык убыли, а сама держит руку на решающем.

Она макнула перо. Дописала Кальмову строку. Присыпала песком.

— Вода точит сваю, — сказала она.

Дарн наклонил голову. Он ещё не понял.

— В Аргване сваи бьют дубовые, — сказала Мара медленно, чтобы каждое слово легло на место. — На них весь город стоит. Топором дуб не возьмёшь: топор затупишь, а свая останется. Вода точит её тихо, год за годом, и никто не видит, пока свая не сядет. Ты, Дарн, топор. Ударишь — щепка полетит, все увидят, а свая устоит и новую забьют. Я — вода. Ни ты, ни я не увидим, как она подточена. А она сядет.

— Долго, — сказал Дарн.

— А твоё быстрое падает на нижних. Кальм пойдёт за тобой с топором, а ляжет под него первым, как брат под воду. Я не хочу писать за него такое прошение.

Дарн не сердился: руки опустились спокойно. Спор его не ломал — после спора он пересчитывал своих.

И он пересчитал.

— Верд, — сказал он, не оборачиваясь. — Кальм.

Из толпы откликнулись двое. Первым — молодой, звонкий, тот, что кричал про нового со дна; его звали Верд. Он шагнул легко, охотно. Выше кисти у него была наколота не цифра и не имя, а подпись неграмотного — крестик в кружке. Метку он носил открыто, будто гордился ею. Мара поняла: этот за именем не пойдёт, он уже выбрал знак. Там, где она всю жизнь билась, чтобы у безбумажного появилось имя, Верд поднял метку как знамя: проживём без вашего имени и вашего пера.

А второй был Кальм.

Кальм поглядел на дописанную строку. В глазах был прежний стыд: ты пишешь складно, но брат под водой, номер не выправлен, а Дарн говорит не про потом — про теперь. Дрожавшая рука теперь держалась твёрдо. Она искала опоры; перо её не давало, топор даст.

— Иди, — сказала Мара тихо, не ему даже, а себе.

Кальм шагнул к лодке.

Толпа поредела: кто пошёл к Дарну, кто по своим нуждам. Остались баба с голодным малым и старик с перебитым номером — до топора ему уже не дойти. Вот они и были Мариной сваей: не толпа, качающаяся к теплу, а те, кому некуда идти, кроме как к перу.

Она пододвинула ящик. Подняла глаза на бабу.

— Диктуй, — сказала Мара.

Она макнула надломленное перо и больше не смотрела туда, где Дарн считал своих, Кальм нашёл опору, а Верд носил метку вместо имени.

Слух о новом со дна висел над спуском, как утренний туман над Ирмой — всем видный, ничей. Мара, не зная, что стоит к нему ближе всех, отёрла торфяную ладонь о подол и стала писать дальше.

Глава четвёртая. У машины нет горла

Туман лежал в коридорах и в голове. Машину Тит понял костяным счётом, каким на дне считал брикеты: пять — рубль, десять — два, тридцать — день жизни. Теперь считал указы. За полгода вышел ноль.

Недели он не считал — считал отчёты. Стопа росла, как брикеты под навесом; всякий итог был один: велел одно, вышло другое.

Тит сидел за ореховым столом, тёмным и гладким, без единой занозы. На дне таких досок не было: всякая цепляла ладонь. Здесь дерево вылизали руки тех, кто сидел прежде и кого свели. Тит водил пальцем по волне у края и думал: стол пережил всех. Переживёт и его.

Перед ним лежал указ: ровный свинцовый набор на рыхлой казённой бумаге, подпись и бурый оттиск Большой Печати с прозеленью по краю. Вписывать в Приходные Книги всякого, кто родился на плотях, без пошлыны. Чтобы безбумажный стал человеком по бумаге и убить его было в убыток.

Строку он сочинил ночью сам. Вспоминал слово «недовес», которое сборщик торфа кричал в спину артели. Недовес — ты есть, но вешишь мало. Безбумажного не взвесили вовсе. Его нет. Тит велел внести. Чтобы был.

Молодой казённый писец заносил строку под взглядом Тита. Держал перо косо, по-дворовому; буквы выходили тонкие, с волосной тенью. Чужа молчание за спиной, он писал всё ровнее, всё чище. Тит считал, сколько таких рук в Аргване и сколько строк они выводят за день. Писец присыпал чернила песком, сдул лишнее и поднял глаза.

— Так ли, господин?

— Так, — сказал Тит. — Читай вслух.

Писец прочёл без запинки. Каждое слово стояло на месте. Строка была чище, чем сложил бы сам Тит. Писец поправил свечу, спросил число и занёс в опись.

И вот лежало донесение. О том, как его строку прочли внизу.

Старшие писари читали бумагу, как Тит воду — по ряби находили кол. В строке они нашли то, чего он не клал: раз велено вписывать, появился обряд внесения; где обряд, там принос. За реформу с плотовых стали брать вдвое против отменённой пошлыны.

Принос не был пошлиной и не стоял в Своде. Это воздух породы; указом его не отменить. Плотовой, не державший гроша, задолжал за то, что его сделали человеком. Долг вписали на новое имя, а безымянному — на старшего артели. И пустили по наследству, как торфяной кашель.

Тит читал неподвижно. Торфяную пыль с лица отмыли, цвет остался под кожей. Полу-согнутые кисти лежали на орехе, будто держали рычаг. По ночам рука ещё сжимала пустоту.

Он перечитал. Цифры не менялись: отменил пошлыну — платить стали вдвое. Счёт не врал. Лгал тот, кто надеялся провести добрую строку сквозь чужие руки.

В донесении стоял один пример из многих: плотовой Кулёма, внесённый позавчера. Имя привели не для жалости — для порядка. Принос — полтора рубля. Таких денег он отродясь не держал; отдал гривенник и связку вяленой рыбы, утирая нос тылом ладони, как ребёнок. Недостачу занесли за ним в долг новой строкой. Став человеком, Кулёма задолжал Двору за то, что стал. Тит видел его на плоту, в мокрой холстине, с шестом, ещё не знающего о долге. Узнает весной, когда придёт доимщик считать. Тит теперь знал его имя. Породе было довольно строки.

Второй указ отменял наследуемый долг. Доимщики прочли: старое вписано до указа, а закон назад не глядит. Там, где кончалась старая строка, они начинали новую — «по переписи». Долг не умер, его переписали. Человек остался должным; лишь строка пахла свежими чернилами Двора — кисло и железно, как кровь на морозе.

Чтобы провести грань между старым долгом и новым, подняли прежние книги. Пустые долговые места не гасили: сводили по родству и позднейшим именам. Выверку начал Титов же указ.

Третий указ карал писаря, взявшего сверх пошлины. И писари стали брать за скорость: не за печать, а чтобы она легла сегодня, не через полгода. Принос называли благодарностью, добровольной и недоступной каре. Плотовой сам нёс её, кланяясь, чтобы строка не пролежала под сукном до половодья, когда Ирма поднимется к плотам и станет уже не до справок.

Особый соглядатай донёс с дальнего рукава: там завёлся ходатай, грамотный расстрига. Брал с плотовых по полтине, сам нёс строки во Двор, кланялся за них писарю и возвращал готовые справки. К нему шли охотнее: самому страшно, через него — нет. Ходатай уже купил вторую лодку и нанял мальчика; реформа кормила его третий месяц. Тит не сеял этой руки — её посеяла милость. А всякая милость родит того, кто с неё кормится, как падаль — червя. Червь не зол. Он делает своё.

Тит медленно положил донесение, как на непрочный лёд, не зная, выдержит ли. Лист лёг и зашуршал. На дне писали на бересте и дощечках углём; здесь дрянную казённую бумагу жгли возами. На каждом возу был чей-то долг.

Гневу нужно горло, в которое его направить, и лицо, на котором отыграться. Здесь не было ни того, ни другого. Указ прошёл породу, как вода торф: вошёл сверху чистым, вышел бурым, набрав муть по всей толще. Нельзя было указать место, где она помутнела: везде. Ничего не смыл — напичкал гниль.

Он бил по укладу мечом, страхом и волей — тем, чем взял всё. Меч входил в туман и не встречал кости. Страх брал людей, но у породы не было хребта, по которому прошёл бы страх. Воля упиралась в то, у чего нет спины, чтобы согнуться. За продавленной пустотой порода стояла целой.

Месяц назад он взял для острастки старшего писаря, дравшего втрое. Тот кланялся, тряс щеками, не запирался: брал, виноват, помилуй. Тит ждал прежнего желания ударить — не дождался. Перед ним стоял исполнитель, не враг: винтик, который крутился, как его поставили, и который заменят таким же. Но закон требовал розог и отписки от места. Писаря свели в подвал и отходили.

Наутро место занял племянник — конопатый, тонкошей, ещё державший руки врасстырку. Первый плотовой сам положил принос на край стола. Племянник взял учтивее дяди, но больше: со страху хапнул впрок, поклонился и спрятал в рукав. Колесо не заметило вынутаго зуба, доточило новый и завертелось дальше. Казнить породу — черпать решетом: вода останется вровень.

Стул беззвучно отошёл по ковру — здесь даже мебель приучили молчать. За мутным стеклом Аргван дрожал, как под водой; жёлтый болотный газ цеплялся за крыши. За тремя рукавами спали безбумажные, которых Тит сделал должниками. А хотел — людьми.

На груди висел залоснившийся кожаный чехол с Печатью. Тит положил на него ладонь и замер: движение вышло само.

Он знал это движение. Видел его. Давно, на дне.

На дне конторщик Огрызя носил малую печать — грошовую, но властную на всю слободу. Вписанный ел, невписанный пух от голода. Конторщик тряс чехлом перед Брикетом и хохотал: «У тебя такой не будет». Однажды ночью Тит видел его спящим у печурки: обе руки прижимали чехол к груди, а лицо во сне было детским и испуганным. Мальчишка понял: боится, что отнимут, — значит, есть что брать. И дал зарок пройти по цепи, от Огрызя выше, до пера, стать тем, кто решает. Чехол казался ему венцом.

Теперь у него была высшая Печать. Власти над породой она не дала, зато каждый день держала отчётом за горло. Чужой принос, переписанный долг, кровь по строке — всё считали

на того, чья Печать легла. Снять её и уйти нельзя: за неё отвечают головой. Вещь не принадлежала Титу; это он принадлежал вещи, тянувшей вниз тем же кольцом, по которому поднялся.

Его рука лежала на чехле, как рука конторщика. Тот стерёг печать не из жадности — боялся за себя, потому что вещь спрашивала за всё под нею. Тит отнял ладонь, словно кожа была горячей.

У холодной печи сидел Шныр Пятиструнный и перебирал единственную натянутую струну. При нём Тит мог не держать лица. Шныр был рядом с самого дна, ещё мальчишкой носил капсулы по трубам и лучше всех умел молчать. Половину дней он ездил конками, сидел на плотках, слушал у спусков и в задних комнатах кабаков. Тит не спрашивал где: Шныр был его ухом там, куда не доставал отчёт.

— Прочёл? — спросил Шныр, не поднимая глаз от струны.

— Прочёл.

— И как тебе твоя реформа на вкус?

Тит не ответил. За окном где-то хлопнула в трубе капсула и прошелестела дальше. Шныр тронул струну. Та отозвалась глухо, не дотянув до ноты. Он не стал её подтягивать. Послушал, как звук умирает, и тронул снова.

— Ты дал безбумажным имя, а порода взяла за него плату, какой за безымянность не брала. Облегчил долг — она переписала и взяла за перепись. Пригрозил доимщикам — стали брать ласковее, но больше. Всё, чего ты коснулся, она обратила в свой прибыток. Она не тело, чтобы от удара упасть. Она русло: ты льёшь воду, думаешь залить, а оно несёт туда, куда текло.

— Я знаю, — сказал Тит.

— Знаешь не до дна. — Шныр смотрел в спину Тита без страха, как никто во Вельмаре. — Ты находил горло и стискивал, пока не сдавалось. Всю жизнь шёл к тому, у кого горло. Пришёл — горла нет.

Он помолчал. Подвинул струну пальцем, не дёрнув её.

— Писарь скажет: велел уставщик. Уставщик — так в Своде. Свод — внесли до него. А тот, кто внёс, давно лежит за Хеммаром, и спросить с него нельзя. Ты ищешь, кого казнить, но застой не человек. Срубишь голову — под нею окажется строка; к утру её перепишет другая рука и будет думать, что служит правде.

— Я брал старшего писаря, — сказал Тит. Сказал ровно, не в укор Шныру, а как кладут на стол кость для счёта. — В прошлый месяц. Того, который втрое драл. Отходил розгами, согнал с места. На его место сел племянник и в тот же день взял больше.

— Стало быть, сам видал, — сказал Шныр. — Я тебе про то и струну тяну. Ты вынул зуб, а колесо доточило новый. Колесу больно не бывает. Боль — она у зуба, а зуб колесу не родня, зуб расходный. Колесо переживёт все свои зубья. Как стол твой пережил всех, кто за ним сидел. — Он кивнул на орех, не глядя. — Ты за этим столом не первый и не последний, и стол это знает, потому и гладок.

— Чего ты молчишь, — сказал Шныр тише. — Я при тебе с того самого дна. Я тебя Брикетом помню, сопля соплёй. Мне ты можешь сказать.

И тогда Тит сказал то, чего не сказал бы никому.

— Я думаю, — сказал он, и голос был костяной, ровный, — что проще сжечь.

Шныр не шевельнулся. Только палец его остановился на струне и придавил её, чтобы не звенела.

— Свод не починить. Всякая моя строка становится его строкой, его приносом. Милость он обращает в долг, волю — в пеню. Значит, сжечь. Свести Двор, сломать Печать, разогнать писцов. Чтобы люди не рождались должными, а вода искала низа без реестра и разрешения.

Шныр снял палец со струны. Дал ей отзвенеть. Послушал.

— Сожжёшь книгу, не породу. Бумага дешева, писцов много, голодных писцов ещё больше. Нынешний старший завтра возьмёт за внесение в новый Свод, а краснослов объяснит,

что теперь правда и надо вовремя выправлять бумаги. Люди сами принесут ему последние гроши, чтобы не остаться за строкой. Строка сгорит. Рука останется и будет писать на пепле.

Шныр поднял струну к глазам, посмотрел вдоль неё, словно искал, где она кривит, и опустил.

— В Хеммаре до тебя сгорел податной архив: долги, недоимки, кабалы — всё. Я мальцом носил мимо капсулы и думал: людям воля. Через год архив стоял заново, толще прежнего. Кого помнили, вписали по памяти; кого нет — по соседям, доносу, слуху, ещё и накинули за беспокойство. Кто прежде был должен рубль, оказался должен три, а кто не был должен, не сумел доказать обратного ни одной бумажкой. Пожар дал писарям чистый лист и повод переписать долги крупнее. Вот тебе весь огонь, Брикет. Не строй на нём.

Тит повернулся от окна. Лицо серое, неподвижное. Глаза смотрели исподлобья и чуть мимо, как целясь.

— Стало быть, ничего нельзя, — сказал он. — Ни починить, ни сжечь.

— Я этого не говорил, — отозвался Шныр. — Я сказал: горла нет. Бить некого. А что не бить — про то я не знаю. Я рассыльный. Я капсулы носил, а не правил. Это ты правишь.

Он снова взял струну. Она отозвалась глухо, всё на той же недотянутой ноте. Он будто нарочно не правил её — оставлял фальшить, как оставлял недосказанным конец. И в углу стало, как было. Тихо, расстроено, по-человечьи.

В дверь стукнули — мягко, костяшкой, как стучат во Дворе, чтобы не потревожить, но и не прозевать. Вошёл дежурный старший писарь, бочком, с папкой под мышкой, и, не поднимая глаз, положил на ореховый край ещё один лист.

— На утверждение, господине. Спешное. Уставщики просят печать сегодня же.

Тит не взял лист. Посмотрел на него издали.

— О чём.

— О ходатаях, господине. Развелось самозванных, что носят за плотовых строку и берут за это мзду помимо Двора. Уставщики предлагают завести законных ходатаев, при Дворе, с патентом за годовой взнос в казну. А кто без патента — тому пеня.

Тит смотрел на лист и считал. Двор станет в доле — и потому узаконится навек. И под этим ляжет его печать.

— Положи, — сказал Тит. — Подумаю.

Старший писарь положил лист и вышел, кланяясь спиной. Шныр проводил его взглядом и тронул струну.

— Видал, как оно плодится, — сказал он негромко. — Ты ещё первой строки до дна не дочёл, а тебе уже несут третью, чтобы латать вторую. И всякая с печатью. Всякая твоя.

— Видал, — сказал Тит.

Тит стоял в ореховой палате держателем Большой Печати, господином над теми, кто прежде звал его Брикетом или «эй ты». Тогда его не было по бумаге — такого же безбумажного, как спящие сейчас на плотях. Теперь он прошёл по цепи из чёрной воды на сухой холм и получил всё, чего желал мальчишка на брикетах.

Но мальчишка хотел не пера. Он хотел, чтобы рука над ним не опускалась мимо, чтобы его сосчитали, внесли, чтобы он был. А внесённый становился должным за то, что числится; сосчитать значило вписать в строку. Не было способа быть и не задолжать. Бытие выписывали в долг; других чернил у породы не водилось.

Он смотрел на лоснящийся, как мокрый торф, чехол. Под холмом лежал город людей, отвечавших перед теми, кто выше: писарь — уставщику, уставщик — Своду, Свод — давно отписанному автору строки. Ответ поднимался кольцо за кольцом до самого верха, где лица не было. Тит стоял там и был этим отсутствующим лицом. С него спрашивали, ему — не с кого, кроме мёртвых и бумаги.

За тремя рукавами спала Зыбь, нянчившая Брикета и совавшая ему корку, когда самой нечего есть. Между ними теперь стоял весь Двор. Её плот Тит помнил по глухому узлу из трёх пеньковых прядок, на два захлёста, чтобы вода не распустила. Весной доимщик увидит вязку и не узнает в ней руку, кормившую того, кто его послал. Рядом со старухой спал новый долг, пахнувший чернилами: плата за то, что её, может быть, сегодня сделают человеком по его строке.

Зыбь делила корку по числу ртов, себе не оставляла. Знала на глаз, сколько в человеке нужды, как Тит знал на руку вес брикета. Давала и забывала, что дала: единственная во Вельмаре не заносила дар в строку. Потому и осталась ни с чем на плотях — кто не заносит, тот не копит, того держит одна вода. Тит мог вписать её первой, дать имя и сухой угол — и сделать должной Двору, реформе, ему. Лучший и худший подарок был одним.

Тит положил ладонь на чехол. И на этот раз не отнял.

В жёлтом газе дробно стучал телеграфный ключ. Рука Тита лежала на Печати; он уже не знал, кто кого держит.

Глава пятая. Лица из-под двери

Туман стоял в коридорах Чернильного Двора, как над плотами: цеплялся за газовые рожки, желтел понизу, набухал в углах. Тит шёл сквозь него, будто по воде без дна. Под ногами лежал добрый тёсанный камень Досмара, какого на дне не клали, но ступал он по-прежнему осторожно: одна гнилая доска — и плот над тобой, серая вода в горле.

Он шёл смотреть приказную часть. Ту, где из чужих жизней режут строки.

Шныр Пятиструнный шагал на полшага позади, перебирая в кармане расстроенную струну, как другие перебирают чётки. Тихое бречание Тит уже не слышал, как капель за стеной. Шныр умел молчать в шаге за плечом так, что молчание становилось службой. Он понимал: господин ищет — по тому, как тот ставит ногу, держит плечи и принимает у поворотов.

Двор был городом под крышей: коридоры отдавали лестницам, те — переходу над каменным двором, где грузчики катили короба бумаг и колёса гремели, как в бочке. Тит считал двери. Справа и слева — конторки, над каждой жестяная бирка: число, стол, уложение.

На повороте едва не налетел на Шныра двенадцатилетний рассыльный в курточке не по росту, с кожаной сумой и пачкой депеш. Он бежал, считая двери. Узнав Тита, обмер, прижал бумаги к груди и согнулся так низко, что сума съехала на локоть. Распрямиться без позволения не смел.

— Чьи носишь? — спросил Тит.

— Третьего стола, ваша милость, — выговорил мальчишка в пол. — Из верхней конторы в нижнюю. Которые по трубе не идут, те ношу я. Спешные — по трубе, а которые с печатью — печать в трубу не пролезет, те ногами.

— Сколько за день?

— Когда сорок, когда больше. По биркам считают: сдал — зачлось. Не сдал — недонос.

Недонос. Тит пошёл дальше. Мальчишка выждал три двери, только тогда распрямился, вскинул суму и побежал, опять считая. У него тоже было число. За числом — место, под местом — гниль, если число не сойдётся.

Он шёл по Двору, как по болоту, искал жилу, узел, место, где махина сходится в одно горло. Мечом, волей и чужим страхом он десять лет брал власть, кольцо за кольцом, со дна доверху. Теперь не знал, к чему приложить нажитое.

Утром, идя задними переходами без свиты, Тит видел, как машина мелет мимо указа. У стола для новых стоял земляк — Тит узнал его не по лицу, по согнутой спине. Так гнулись только на плотях. Мужик, серый от торфа, мят шапку и тянул писцу медный грош, последнюю монету: пришёл вписать себя и детей, чтобы они числились, не были никем. Писец оглядел грош на свет, не взял на зуб и отодвинул — мало даже на почин. Мужик не уходил, будто потерял бы и эту щель. Тит узнал зажатую в пальцах медь и то, как рука не разжимается до последнего, — своё узнал, до кости. Он велел вписывать безбумажных даром; машина требовала принос и за малость вернула земляка в гниль. Прежде тот был невписан по недосмотру, теперь — по отказу. Прежде дыра. Теперь строка.

Приказная часть встретила скрипом стальных перьев и запахом казённых чернил: горький чугунный дух, снизу сладость расплавленного сургуча. Здесь писали много и давно. Чернила въелись в стены, дерево конторок, серое сукно мундиров. Писари сидели над бумагой с плечами, будто всю жизнь несли на загривке короб.

Все встали, когда вошли.

Поднялись не порознь — одной волной, как вода под веслом, и разом согнулись. Дуга спин прошла от двери к окну. Так гнулась порода. Тит смотрел в серые проборы и плечи, сведённые ожиданием удара, которого он не принёс, но которого здесь ждали от всякого, кто

выше. Ожидание сидело глубже мундира. Он сам так гнулся на настиле; спина помнила лучше головы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.